

ПРОФЕССОР ИЗ ГЛУБИНКИ

С кем бы Анатолий Ломов ни сходился — становился тому другом. Мы встретились случайно в редакции многотиражки «Воронежский университет». Он порекомендовал мне учиться писать для газеты только у Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова и Чехова и дал совет: главное — из газеты вовремя уйти и заняться более серьезным делом. С тех пор и до его недавней, совершенно непостижимой разуму, кончины мы были с ним близки, прежде всего, духовно.

Спокойный, уравновешенный, обладающий академическими знаниями, кажется, во всех сферах любой науки. Ему в дискуссиях не могли противостоять ни физики, ни химики с математиками.

Были с ним со студентами «на картошке», на различных диспутах о поэзии, о том, кто важнее — «физики» или «лирики». Сформировалось убеждение, что он из городских, из очень высококультурной семьи. Когда в общежитии поселился выдающийся языковед Игорь Павлович Распопов, который одним из первых в стране о языке стал говорить на языке математического анализа, мы, конечно, не понимали, о чем он вещает и для чего. Однажды попросил популярно объяснить суть его науки, а он: «Все равно не поймешь — просто и доходчиво об этом может донести только Ломов. К нему обращайся».

А у него выходили учебные пособия, научные книги, но написанные таким ясным и понятным языком, что читать — одно упоение. Потом вышло его знаменитое исследование об авторстве «Слова о полку Игореве». Логика доказательств, основанная на глубоких знаниях языковых пластов разных времен и родственных народов, железная. Тем не менее, труд вызвал много споров — все же уязвимые места были. Анатолий Михайлович спокойно сказал: «Черновик. «Слову» мне надо посвятить всю оставшуюся жизнь...»

Каково же было мое удивление, когда узнал, что родом он из Чернавки Панинского района. Отца директором школы перевели в Мосоловку Аннинского района — там он и пошел в первый класс.

После окончания с золотой медалью десятилетки едет в Москву. При весьма большом конкурсе поступает в Бауманское училище на факультет по эксплуатации... котлов. У старшекурсников узнает, куда он принят и чем будет заниматься? Ответ обескуражил: «Всю жизнь проведешь за колючей проволокой. Котлы — маскировка. Готовят специалистов для работы на космос и секретные военные заказы». Он тут же забирает документы и в Воронеже поступает на историко-филологический факультет.

— Началось вот с чего, — Татьяна Михайловна, жена Анатолия Михайловича, показывает фотографию. — Здесь он с книжечкой. В пять лет научился читать — читал все подряд. Осмысленное чтение, разумеется, придет гораздо позже, но фундамент самообразования был заложен с того момента, когда впервые взял в руки книгу да так с ней и не расставался до конца жизни. Постоянно что-то «не знал» и постоянно учился, учился, учился...

О многом говорит тот пример, что он три года проработал в Австрии профессором кафедры славистики Зальцбурга. Там издал ряд трудов, заинтересовал своими научными изысканиями зару-

бежных ученых. Австрийские коллеги его искренне полюбили, не хотели расставаться, постоянно переписывались с ним...

Но это был не замкнутый книголюб, отрешенный от мира, — вокруг него всегда формировался и расширялся круг друзей. В наше время лжи и клеветы, опошления моральных и духовных ценностей добрались новоявленные «шариковые» и до него. На филфаке нашлись подлецы, внушавшие студентам миф о «ломовских чтениях», на которые, дескать, после «колхозов» преподаватели с избранными студентами собирались и пьянствовали... Омерзительно! Ничего подобного и в помине не было. Если бы у него было хоть малое увлечение «зеленым змием», то разве он успел бы (впервые за всю историю факультета) досрочно, до окончания аспирантского срока, защитить у требовательной и принципиальной Валентины Ивановны Собинниковой кандидатскую диссертацию, а вскоре — докторскую?

Настоящие «ломовские чтения», разумеется, они так не назывались, собирались в мастерской его друга художника Василия Тимофеевича Лосева. В силу непредсказуемости (что будет завтра) соборовского времени я только дважды смог побывать «в гостях у Лосева». Кругозор, обаяние ломовское сплотили особое объединение самых разных неординарных людей, имевших известность далеко не в узких кругах — летчик Евгений Ельчанинов, врач Сергей Чичерин, Александр Бялик, конструктор с авиазавода Вячеслав Камаев, актер ТЮЗа Анатолий Абдулаев, преподаватели ВГУ Вадим Кулиничев, Александр Смирнов... В чем причина объединения таких разных по характеру и сфере научно-производственной деятельности людей?

Его друг Анатолий Иванович Федосов такое дает объяснение:

— Жил он по-божественному. Нет, о религии, о Боге речей не заводил, но Библию, труды старцев знал в совершенстве, что подтверждалось частыми

цитированиями того, от чего мы все были далеки... Анатолию Михайловичу буду благодарен всегда — без его влияния жизнь пошла бы совершенно по иному пути. В 1956 году он окончил истфилфак. Получил распределение в Верхний Карачан (тогда это был районный центр) журналистом в газету «За крепкий колхоз». Моя мама, Прасковья Ивановна, работала в редакции техничкой. На момент появления Ломова в Карачане я, инструктор райкома ВЛКСМ, был в отъезде — выступал на первенстве России по спортивным состязаниям. Приезжаю, а мама в восторге: «У нас такой парень появился — сразу душой всех стал. Я с ним много о тебе говорила».

Познакомились. И он сразу: «Какие планы на будущее? Думаешь ли учиться?» «Какое учиться?! Дел невпроворот — спорт, комсомольская работа. «Ты думаешь, спортом всю жизнь будешь заниматься? Надо обязательно учиться, поступать в университет. Я тебе помогу».

А меня одно слово «университет» в дрожь бросило — куда мне до таких вершин?! Я что в школе проходил, почти забыл... Представляешь — так и не отстал. С его помощью стал готовиться к вступительным экзаменам на заочное отделение истфилфака. Просто заставил ехать в Воронеж: «Филология — это не твое, иди к историкам». Поступил. А он не отстает. Требования ко мне такие, будто на стационаре учусь... И никаких — «мне бы только диплом получить».

Руководство привлекло его к комсомольской работе — на общественных началах был членом райкома ВЛКСМ. Вместе ездили на различные семинары, конференции... Я с ним познавал мир, чувствовал, что расту, брат, расту! Он меня сразу же вовлек в круг своих друзей. Встречи в общежитии №2. Первое знакомство с Владимиром Гусевым, будущим ректором ВГУ. Потом — друзьями стали его бывшие однокурсники. Ввел в круг общения Полины Андреевны Бороздиной, которая сама по себе

была «УНИВЕРСИТЕТОМ» — потрясающие знания литературы народов СССР, истории русской литературы, всемирной. Потом познакомился с нашим земляком из Бирюча художником Лосевым.

Я был председателем колхоза, затем — председателем райисполкома... Когда я к нему со своими проблемами, а он: «Какие коровы?! Какие привесы?! Этим должны заниматься у тебя специалисты — люди главные. К ним будь ближе, умей с ними разговаривать и находить поддержку...» Настоял, чтобы для повышения общей культуры владения языком выписал популярный тогда журнал «Русская речь». Пятнадцать лет я его выписывал. К сожалению, ныне подобных изданий нет — главное, тираж был весьма солидный, народ тянулся к знаниям, культуре.

У нас он вскоре стал заместителем редактора, потом его перевели заместителем редактора в Борисоглебск. А у него уже созрело решение о поступлении в аспирантуру. Руководство против — готовили на редактора. Работай — и не отлекайся. Что он делает? Утром на самолет, сдает экзамен, самолетом после обеда уже в Борисоглебске. И таким образом все экзамены на «отлично»! Предъявляет документы о зачислении — вынуждены были отпустить. Первое, что он сделал, убедил своего друга Валентина Пирогова оставить работу в нашей районке, переехать в Воронеж — место в университетской многотиражке обеспечено. Талантливый журналист стал вскоре талантливым ученым, автором интересных исследований послереволюционной России.

...У Ломова произошло «открытие» Лосева-младшего:

— И не подозревал, что Андрей такой талантливый и в чем-то пошел дальше отца... Но сидит в нем чисто наше, российское, провинциальное — недооценивает себя...

Речь о выставке иллюстраций Андрея к «Житию» протопопа Авваку-

ма. Вот отзыв о ней Анатолия Михайловича:

«Андрей! Смотрю на Ваши иллюстрации и слышу музыку — Бетховена. Это со мной впервые — чтобы изображение звучало. Это ничего, что такая русская тема и Бетховен? Ведь человеческие чувства — боль, гнев, отчаяние — на все времена, и нет ничего выше музыки. А где другие Ваши работы? Они тоже эмоциональны.»

*Мастер — отнюдь не улыбка... Так держать! «Все флаги будут в гости к нам...» Успехов Вам, Лосев-младший!
24 ноября 1994 г.»*

...Его очень ценил заведующий кафедрой русского языка Игорь Павлович Распопов. С ним играли не только в шахматы. Однажды А.М. Ломову поступило предложение, о котором и не мечтал — возглавить кафедру в Тартусском университете. Не раздумывая, дал согласие.

Но в вечер расставания Распопов вдруг попросил: «Толя, хочу с тобой поговорить откровенно. Выслушай, а там — дело твое, решай сам. Не советовал бы уезжать из России — рано или поздно оттуда русские вернутся домой... Но самое главное: у меня плохо со здоровьем — на кого оставлю кафедру, в которую столько вложено труда, сил? Решай...» Тут же получен ответ: «Чего решать? Я остаюсь с вами». Через несколько дней Игоря Павловича не стало.

...Благодаря друзьям, в особенности издателю О.Ю. Алейникову, малым тиражом вышла серия воспоминаний, рассказов А.М. Ломова, перечитываешь которые и понимаешь — достойно переиздания для массового читателя, время которого пришло. Он ищет пути к истине, настоящей любви и добру. Теперь все это после его ухода завещано нам.

Эдуард ЕФРЕМОВ

КАТИНА СТЕНКА

Ну, наконец-то, наступили первые в моей студенческой жизни летние каникулы! Я мигом собрал свои пожитки, и вот уже поезд катит меня из Воронежа в Анну. А там десять километров до Мосоловки пешочком. Они показались мне пустяком, и вскоре я стоял перед домом моих стариков. Наскоро поел, ответил на все заданные мне вопросы, немного отдохнул, и — на Битюг. К вечерней зорьке. Подхожу к Казенному мосту, а навстречу мне маленькая собачка. Вроде такса, но скорее всего полукровка. Ухоженная. Я осмотрелся, поискал глазами хозяина.

— Она приبلудная. Целый день у моста ошивается, — сообщили мальчишки. Мне не было никакого дела до приبلудных собак: я спешил на рыбалку. Но когда пошел домой, обнаружил, что она идет за мной. Хотел было разогнать ее, но тут в моей голове словно что-то взорвалось, и перед глазами возникла яркая-преяркая картина.

...Эта бродячая собака была безобразна. Грязные, свалывшиеся клочья шерсти свисают с боков. Один глаз выбит. У нее косолапая походка. Видимо, плохо срослась перебитая когда-то нога. Людей сторонится. А от меня не отходит. Нет, она не ожидает подачки. Терпеливо лежит неподалеку и смотрит на меня. А когда я трогаюсь с места, трусит за мной. Она просто хочет быть рядом.

Ребята надо мной смеются. Бросают в нее чем ни попадя, но она не обращает на них внимания и снова повсюду, как тень, следует за мной. Наконец, побежденный смешками приятелей, я поднимаю подвернувшийся камень и пуляю в нее. Слава Богу, не попал. Но она встает и уходит. Больше я ее никогда не видел. Запомнил только прощальный взгляд, обращенный ко мне. Так смотрят на предателя...

Поди ж ты, уж сколько лет прошло, но мне все равно стало стыдно, и я решительно бросил таксе:

— Пойдем!

К моему удивлению, мать восприняла мою находку спокойно. Только и сказала:

— У нас ты будешь, Катя!

И пошла покормить ее. Вскоре Катя вполне освоилась на новом месте. Ко всем нам она относилась с робким почтением. Не покидала двор — видимо, боясь снова потеряться. И была какая-то печальная. Она напоминала мне чеховскую Каштанку, которая, оказавшись на новом месте, так же печаловалась о своей прежней жизни. И вот однажды, когда я сидел во дворе в тенечке и читал, она забеспокоилась и стала царапать дворовую калитку, требуя выпустить ее. Я выпустил, и Катя стремглав бросилась к незнакомому мужчине лет пятидесяти, стала прыгать вокруг него, взвизгивая от радости. Тот представился вышедшим из дома отцу с матерью:

— Иван Матвеевич. Из лесхоза. Спасибо, что приютили мою Дамку. Месяц искал ее, и вот мне сказали, что она у вас. И как же я рад!

Он вытащил из кармана местную валюту — бутылку водки. Мы устроились тут же, во дворе. Мать подала нам жареную картошку и рыбу — из моего утреннего улова. Выпили. Поговорили немного о собачке. Потом гость осмотрелся и сказал:

— Вижу, Михал Гаврилыч, у тебя полным ходом идет строительство.

— Остановилась моя стройка, — невесело ответил отец. — Пол земляной. Избяная дверь выходит прямо на улицу: сеней-то нет. А задняя стенка из горбылей построена, до того тонкая, что прошлой зимой насквозь промерзла. Пришлось держками закрывать. Не помогло.

— И что же? — спросил Иван Матвеевич. — Не сразу Москва строилась. Управисься как-нибудь.

— Но как? Материалу нет, и денег нет. Есть только долги.

Иван Матвеевич покивал головой, а потом сказал:

— Думаю, что помогу я тебе. Приезжай-ка завтра на лошади ко мне в лесхоз, тут недалеко — километра три будет. Да прихвати с собой бутылки три водки. Мужики за это угощение наберут тебе воза три хорошего хвороста и десятка три жердей. На днях у нас было санитарное прореживание леса, все равно вырубленное лежит без дела.

— Да на что мне хворост, Иван Матвеевич? — недоуменно спросил отец.

— А вот на что. Сделаешь фундамент, укрепишь в нем жерди и сплетишь плетень, а отступа сантиметров так на сорок, скрепишь их и насыплешь между ними земли, хорошенько ее утрамбуешь. И вот тебе сени. Только не забудь отверстия оставить для окна и дверей.

— А не сгниет плетень? — озабоченно спросил отец.

— А ты прежде чем землю сыпать, толем все аккуратненько внутри выложи. Да следи, чтобы влага на землю не попадала. Лучше твое сооружение снаружи и внутри глиной обмазать.

Иван Матвеевич промолчал, потом добавил:

— А насчет пола — мой тебе совет. Подзайми денег, поезжай в Денисовку к моему куму Запрыгаеву, его там все знают. Он сломал избу и переезжает в Воронеж. Половые доски у него хорошие, хоть и были в употреблении. Сам видел. Отдает он их за бесценок. Спешит очень. Через год впятеро не укупишь.

Отец мой воодушевился и развил бурную деятельность. Наутро он выпросил в правлении колхоза лошадь, мы за день совершили три ездки, привезли хворост и жерди. А на следующее утро поехали в Денисовку и оттуда возвратились с половыми досками.

Наступил август, и мы с отцом приступили к строительству. Сначала принялись за легкую работу — настилку полов. Стругать доски, подгонять их друг к другу было не надо: это все сделали до нас. И через полтора дня пол был готов.

Отец полюбовался на наше творение, не утерпел — поехал в Анну и привез несколько банок с желтой половой краской. Полы выкрасили, и через неделю в комнатах воцарилась чистота. Потом настал черед сеней. Мы провозились недели две. Отец отнесся к этой работе с особой тщательностью и во всем следовал советам Ивана Матвеевича. Когда основные дела были закончены (стены стояли), мы с отцом настелили пол и потолок, вставили окно из старого дома бабушки, закрепили двери, обмазали и побелили стены. И удивились несказанно: у нас получились не сени, а еще одна комната, правда, холодная, потому что зимой она не отапливалась.

А закончили мы стройку тем, что возвели над сенями крышу. Тут нам помогли брат отца — дядя Федя и племянник Михаил. Так что за неделю управились. И я уезжал в Воронеж к сентябрю спокойный: дом у стариков уже не выглядел недостроенным.

К Новому году я получил из Мосоловки письмо. Среди прочих новостей мне сообщили и такую. «Сам знаешь, сынок, — писал отец, — сентябрь и октябрь стояли в этом году сухими, без дождей, и я решил: взялся утеплять заднюю стену дома все тем же способом — с помощью плетня и земли. И когда грянули декабрьские морозы, я поразился: стена не промерзла, а была теплая-препеплая! И мы с матерью теперь называем ее Катиной стенкой».

...С тех пор минуло шестьдесят с лишним лет. Давно расстались с белым светом мои милые старики, а дом все стоит, окруженный кустами боярышника, которые посадила еще мама. Он нисколько не похилился и даже выглядит щеголоватым. Года через четыре после окончания стройки долги были выплачены, и отец по случаю раздобыл два воза вагонки, обил весь дом и выкрасил зеленой краской. Со временем краска выцвела, но дом все равно смотрится хорошо. В нем теперь живут чужие люди. Они не знают ничего о собачке Кате, косточки которой, верно, уже истлели в сырой земле. И никто не называет заднюю стену дома Катиной стенкой.

СОЛОВЬИ УЛЕТЕЛИ

Как ни странно, я, деревенский мальчик, ни в детстве, ни в отрочестве с соловьями не сталкивался. И мое знакомство с этими удивительными птицами состоялось лишь в двадцать один год, когда четверокурсником я поехал на военные сборы.

Я никогда не забуду эту июньскую ночь 1957 года. Нас вывели на учения. Было уже темно. Мы вышли на опушку леса, и вот тут-то началось. В лесном зале словно включили свет: под ногами у нас вспыхнули мириады светлячков. А откуда-то сверху на нас полились торжественные звуки соловьиного пения. Ошеломленные, мы вслушивались, как невидимый певец заканчивал одно музыкальное колено, делал небольшую паузу и начинал новое, отличное от предыдущего. Я насчитал двадцать таких колен (может, ошибся?), потом повторялось все сначала. Я напряг свой ум, и у меня, словно ниоткуда, выплыли поразившие меня в детстве наименования этих колен у Тургенева: дробь, раскат, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня. Как я ни пытался припомнить, что они означают, но так и не смог. Порасспрашивал своих приятелей, однако и они тоже ничего не знали. Вспомнили лишь, что наряду с курскими соловьями до революции славились еще и черниговские, бердичевские, калужские, но чем они отличались друг от друга, для нас осталось тайной за семью печатями. Вот они, горькие плоды полужнания, с которыми в своей жизни мне приходилось сталкиваться не раз. Но эти сетования забылись, а воспоминания о курских соловьях отодвинулись куда-то на окраину моей памяти.

Пробудились эти воспоминания только через неполные тридцать лет. В 1986 году я возвратился из Австрии, где работал в течение полутора лет в Зальцбургском университете. Поднакопил денег, купил «жигуленка» и старый саманный домик в Горках. Это село под Новой Усманью уже умирало. Из полутысячи домов тут сохранилось десяток-полтора жилых изб, где ожидали переселения в мир иной древние старики и старухи. Один такой домишко был как раз напротив моего, правда, располагался он на улице, параллельной моей. Нас разделяли два огорода — мой и старухи, которая жила в этом доме. В начале зимы старуха умерла, и я об этом узнал отнюдь не из рассказов соседей. Огромный рыжий кот, околачивавшийся обычно у старухина дома, неожиданно переместился под мою дверь. Наверное, проголодался. Я впустил его в мою жарко натопленную избушку, навалил полную миску еды. Он поел и, примостившись у печки, заснул. Это повторялось не раз, и вскоре соседи, посмеиваясь, говорили:

— Михалыч, раз в субботу кот не сидит у тебя на заборе, значит, ты уже приехал.

Так мы с котом, неизменно уходившим на ночь по каким-то своим делам, дождались весны. И вот, в середине апреля, когда уже распустились деревья, я услышал... услышал... робкое соловьиное пение, которое становилось все громче, громче. Я удивился: откуда здесь, в центре села, взялся соловью? Случившийся рядом мой сосед Михаил Николаевич, Мишка-карандаш, по-местному, указал мне на два небольших дерева, стоявших на старухином участке, рядышком с моим огородом:

— А вот там. Лет десять уже поют. Наверно, по наследству гнездо переходит.

Поначалу я не поверил моему соседу. Потом мне вспомнилось. Леонид Семаго, тогда еще аспирант третьего года обучения, в далекие пятидесятые рассказывал своим приятелям:

— Кустарники, живые изгороди садов, опушки светлых роц — любимые места для гнездования соловьев. Но одно непременно условие — вблизи должен находиться пруд или озеро. Да, и вот еще что. От этого правила бывают отступления. Сам видел, как соловей поселился у дороги. По ней катили машины, прогоняли скот, шли люди, а он пел над ними, лежа на толстой ветке, невидимый снизу.

Этот рассказ, который был повторен в любимой мной книге Семаго «Сто свиданий с природой», развеял все мои сомнения, тем более что я в двухстах метрах от моего дома заметил старое, заболоченное русло Усманки. И я начал наблюдать за гнездом соловьиной семьи.

Соловьи обычно не любят, когда на них смотрят. Но я проявил чудеса изобретательности и все-таки разглядел певца. Ничего особенного. У него простенькое, без пестроты, одеяние: верхняя часть оперения — буровато-серая, нижняя — грязно-белая, хвост бурый с ржавым оттенком. Но вот пение... Оно день ото дня становилось все звучнее и громче и, наконец, достигло пика во время вывода птенцов. Я просиживал на приступке субботние и воскресные ночи напролет, отдаваясь во власть чарующих звуков. Нередко обнаруживал и примостившегося рядом кота, которого, мне казалось, они тоже не оставляли равнодушным.

Но в конце июня птенцы вылетели из гнезда. Соловей взял долгий девятимесячный тайм-аут и умолк. Я утешал себя: снова наступит апрель, и снова я услышу моего певца. Но надежды не сбылись.

Зимой опустевшую избу старухи купила семья: жена и муж, по приметам, явный подкаблучник. Начали супруги с того, что убили чем-то не угодившего им кота. А в начале марта спилили два дерева — соловьиный приют. Соловьи, не найдя своего гнезда, улетели...

Случайно или не случайно (я-то уже давно не верю в случайные совпадения!) после этого счастье отвернулось от бывшего старухина дома. Мужу приглянулась иная

женщина, и он ушел к ней. А пружинку его жену поразил какой-то тяжкий недуг. Сил у нее уже не оставалось. Она с трудом выползала из дома, присаживалась на пенек и печально смотрела на заросший бурьяном огород, над которым до ее приезда пел соловей, как выразился Михаил Пришвин, свою вечную песню радости.

ЗАБЫВЧИВЫЕ ПАПА И МАМА

В воскресенье все шесть наших учителей поехали рыбу ловить. И вместе с ними мой папа: ну куда же без директора? Запрягли школьную лошадь, взяли у кого-то недетку — ну, сетку такую, наподобие бредня, только мотни нет. Потом сели в телегу и тронулись. Без меня. Я просил-просил, даже плакал. Ничего не помогло. Отец нерешительно было посмотрел на маму. Но мама строго ответила:

— Не дело пятилетнего ребенка с собой брать. Потопнет еще. Или с телеги свалится.

И они уехали, а я один целый день ходил-бродил по барскому саду. Даже не пришел на обед, хотя есть хотелось очень. К вечеру они приехали. Рыбы привезли много-много: ведро и еще таз. Сверху в тазу лежала большая рыба, мне сказали — щука. Страшная, с острыми зубами. Я засунул ей в рот палец, а она прикусила его. Пришлось кричать. Больно не было, хотя кровь-то выступила, и мама намазала палец противным йодом.

Рыбу пожарили, и все сели за стол. Мужики попробовали, говорят: вкусно! Но тут же стали какими-то хмурыми: чего-то не хватает. Я понял чего — водки. Мужики ее со вкусом пьют, а она горькая-прегорькая! И чего в ней хорошего?

Кузьма Никитич сказал:

— Ходить в сельмаг бесполезно: обещали привезти только в среду. А до райцентра ого сколько!

И они все до одного опечалились. Жалко как-то мне их стало. И я вспомнил. Три, нет, четыре дня назад папа ездил в Щучье, и мама ему сказала:

— Не забудь, Миша, купить две бутылки водки. Мастера придут — печку перекладывать и окна красить. Другой платы, кроме водки, они не признают.

И папа водку привез. Две бутылки. Их поставили в чулан. Ну, вот, водка есть. Есть! Я потихоньку вылез из-за стола, а через минуту возвратился. Когда мужики увидели, как я осторожно нес в каждой руке по бутылке, они страшно обрадовались и почему-то забили в ладоши. Мне стало смешно. В папиных газетах я видел фотографии, где так встречают каких-то там вождей. Но ведь я-то никакой не вождь. А папа и мама как-то непонятно улыбались. Не рады, что ли? Ну, ладно. Потом они мне еще спасибо скажут. За то, что вовремя вспомнил о бутылках. Все-таки они у меня какие-то забывчивые...

В ДЕРЕВНЕ ХЛЕБЫ БОЛЬШЕ НЕ ПЕКУТ

В один из дней недели мама озабоченно говорила:

— У меня завтра хлебы!

К ее словам в семье относились с пониманием. Они означали, что хозяйку нельзя отвлекать по мелочам, если не хочешь есть всю неделю плохо пропеченный хлеб.

Сразу же после обеда мама начинала священнодействовать. Тщательно просеивала ржаную муку, растворяла ее в воде. Добавив в тесто закваску, квашню ставила в теплое место, желательно на печку, и внимательно следила за опарой. Я хорошо помню вечерние охи и ахи мамы, жалующейся нам с отцом на капризы теста: то оно плохо подходит, то закваска действует очень активно, и опара вот-вот вспучится и перевалит через край квашни. Но в результате принятых контрмер (не знаю, уж каких) наконец все приходило в норму и ...

Впрочем, дальнейшие действия осуществлялись на следующий день. Утром мама жарко протоплила печьку березовыми дровами (если они были), тщательно выгребала угли и золу. Обыкновенно хозяйки села, сформировав из теста ковриги, ставили их прямо на под или подстеленный капустный лист. Мама, ученица своей тети, служившей кухаркой у помещика, презирала такой способ выпечки. Она заставила отца согнуть из жести этикие противни, на них помещала ковриги и отправляла их в печь. Не помню уж, сколько они находились там, но в нужный момент, открыв заслонку, мама извлекала из печи чудо женского искусства — хлебы, смачивала их водой и ставила остывать. Они были с блестящей коричневой коркой сверху, невероятно духовитые и со слабым-слабым кисловатым привкусом. У меня текли слюнки в предвкушении того момента, когда отец разрежет ковригу хлеба и каждый член семьи получит для пробы еще теплый хлеб. Мне доставался самый большой ломоть. Мать мазала его вишневым вареньем или сливочным маслом, и я спешил на улицу, где уже толпились мои дружки, оповещенные мной заранее о том, что мать печет нынче хлебы. Все они почтительно принимали по кусочку восхитительного лакомства, и с каким-то благоговением мы съедали все до крошки.

Конечно, у разных хозяек хлеб получался разным: прекрасным, хорошим, посредственным, а иногда и откровенно плохим. Поэтому когда случалось, что в конце недели хлеба семье не хватало, женщина бежала занимать к своим соседям либо целую ковригу, либо половинку ее — естественно, с отдачей, когда у них тоже выйдет хлебная нехватка, но бежала не к кому попало, а к тем, у кого хлеб по качеству получался примерно таким же, как у нее. Моя мама признавала только двух заимодавцев: одна из них жила рядом с нами, а другая на самом краю села, и я в любую погоду по лужам или по сугробам путешествовал на Кончановку и никогда не отлынивал от такого поручения. Понятно, что все село знало, кто у кого перехватывает хлеб, и установившийся порядок никогда не нарушался. Я вспоминаю одну женщину, которая как-то выбивалась из этого порядка. Хлеб у нее выходил плохо пропеченным, и никто не хотел иметь с ней дело.

— Ну вот опять, — обыкновенно жаловался ее муж. — Безрукая ты, Фроська. Опять придется одними картохами два дня обходиться.

Фроська отмалчивалась.

...В середине 50-х годов прошлого века искусство выпечки домашнего хлеба стало умирать. В районных центрах расширили хлебозаводы, и их продукцию стали развозить на машинах даже в самые отдаленные села. В наше село хлеб привозили по вторникам, и хозяева покупали сколько его им нужно на неделю и не заботились больше о хлопотном занятии выпечки. Но изредка женщины, желая побаловать домашних, вспоминали о прошлом, и целую неделю семья ела ржаной хлеб. Мне в последний раз довелось отведать ржаной хлеб в 1971 году, когда я получил подарок — ковригу из села, где работал когда-то в редакции районной газеты. Я рассчитывал, что этой ковриги мне хватит на неделю, но тут набежали мои знакомые — бывшие деревенские мальчишки, и от ковриги к концу дня осталось лишь воспоминания.

Нельзя сказать, что покупной хлеб был плохим. Но доля ржаной муки в нем постепенно сокращалась, а потом, когда в наших краях рожь перестали сеять, она исчезла совсем. Хлеб стал пшеничным с добавкой ячменя. Таким он остается и по сей день. И если мы с женой в каком-нибудь магазине замечаем хлеб с многообещающей надписью «ржаной», то обязательно покупаем его. Но хлеб этот неизменно оказывается не тем, какой мне довелось есть в детстве. Я раздумывал над тем, почему это так? В итоге этих раздумий у меня родились две взаимоисключающие догадки: либо здесь сказываются многочисленные добавки к ржаной муке, либо дает о себе знать естественная моя приверженность принципу: «что пройдет, то будет мило». Но вторую догадку пришлось исключить, как только я припом-

нил давнишний случай, происшедший на русско-турецкой войне 1737–1738 гг. Наши войска под командованием фельдмаршала Миниха добились тогда больших успехов. Среди них были взятие Очакова, Хотина и блистательный поход в Крым через Сиваш вброд. Но солдаты роптали: в пост они не наедались южным пшеничным или кукурузным хлебом, хотя рацион его увеличили почти вдвое. Должностные лица Синода отнеслись к этому с пониманием, и вскоре последовало разрешение есть в постные дни мясо. Неслыханное дело в те времена!

А потом, возможно по ассоциации, я вспомнил историю, случившуюся в середине 80-х годов в Австрии, куда меня направили на работу в Зальцбургский университет. Там я поселился у вдовы, русской по происхождению женщины, которая покинула родное Подмосковье более сорока лет назад. Так вот, когда я ехал на каникулы домой, то спрашивал ее, что мне привезти из России. Она неизменно отвечала:

— Бородинского хлеба. Он отдаленно напоминает мне по вкусу ржаной хлеб, который теперь уже, понятно, не достанешь.

Я привозил ей четыре-пять буханок бородинского хлеба. Она аккуратно разрезала их на ломтики и прятала в холодильник. Ежедневно она съедала один такой ломтик. И когда она ела его, у нее на лице появлялось выражение, словно она в мыслях вернулась на свою родину.

А я... Когда я сажусь за обеденный стол, то порой вижу колышущееся море золотой ржи, слышу льющуюся над этим морем откуда-то с небесья торжествующую песнь жаворонка. И как заключительный аккорд ее всплывают в моей памяти слова страстной мольбы людей, обращенной к Богу: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

ПОЗАРАСТАЛИ СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ

На второй день праздника Победы я поехал на велосипеде из села, где мы тогда жили, к бабушке с дедушкой. Когда я вспоминаю это путешествие, то не могу удержаться от смеха. Дело было в том, что при нормальной посадке на сиденье велосипеда ноги у меня не доставали до педалей: мне еще не исполнилось десяти лет, и как на грех, я был небольшого роста. Отец сокрушенно покачал головой, но тут же нашел выход — свинтил сиденье и привязал на раму вместо него старую подушку. Все отлично устроилось, и я бойко разъезжал на единственном в селе «самокате», переваливаясь из стороны на сторону и не обращая внимания на то, как это смешно выглядело.

Двенадцать километров, разделявших села, я преодолел быстро и через два часа уже входил в низенькую избушку моего дедушки, где я провел три военных года. Мы порадовались окончанию страшного военного времени, погоревали о погибших знакомых. И тут бабушка сообщила мне деревенскую новость:

— На прошлой неделе померла Нюша.

Нюша, деревенская дурочка, была грузной женщиной лет сорока. Она почти не покидала избу и все время сидела на лавке, глядя в окно выцветшими голубыми глазами. Говорить она не могла, только невнятно мычала.

Такой она была не всегда. По рассказам старших, Нюша слыла первой красавицей на селе: чуть удлиненное лицо, прямой нос, русская коса до колен, изящная фигура. К тому же у нее был прекрасный голос, и она не горланила, как ее подружки, «матаню», а пела песни русского репертуара, какие выучила в церковном хоре.

В Нюшу был влюблен деревенский парень Илья Астахов, и на Троицу намечалась их свадьба. Но тут случилось непредвиденное. Отец Ильи поймал вора — жителя соседней деревни, когда тот пытался свести со двора славящуюся резвос-

тью кобылу. По деревенскому обыкновению, у вора сделали обыск, нацепили на него украденное во время прошлых его «вылазок» и повели по селу. Около каждого дома стоял хозяин с колом, которым полагалось ударить вора. Скоро его уже не вели, а волочили на веревке, и посреди села он испустил дух.

Вечером к Астаховым пришел старший сын покойного и угрожающе сказал:
— Ну, погоди!

Астахов забеспокоился и направился к соседу посоветоваться, что делать. Сосед подумал-подумал и сказал:

— Уезжай из села. И чем скорее, тем лучше. Сыновья твоего вора отчаянные ребята и рано или поздно кончат тебя.

Астахов внял совету: продал избу, немудреные крестьянские пожитки и переехал в город. О свадьбе, конечно, уже не поминали. А когда спрашивали у Ньюши, что же дальше, она загадочно усмехалась и отвечала несколько переиначенными словами песни:

— Простился со мной миленький до будущей весны.

Но будущей весной Илья не появился, а еще через год приехал в гости к дяде с молодой женой. Услышав эту весть, Ньюша выбежала на улицу и без чувств упала на землю. Стояла первая треть двадцатых годов, и медиков в селе не было — ни врача, ни даже медсестры. Пригласили бабку, слышшую великой целительницей, но она оказалась бессильна. А болезнь у Ньюши прогрессировала. Сначала она перестала говорить и только изредка напевала: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого вожки», потом вообще замолчала. Так прошли долгие четыре-надцать лет. Перед войной родители Ньюши умерли. Ожидалось, что Ньюшу определят в какой-нибудь государственный приют. Но ее согласился взять Денис Васильевич, один из немногих единоличников, живших в селе. Ему при отказе вступить в колхоз сохранили лишь 15 соток земли. У Ньюши после смерти родителей было 50, и они пригодились ее приемным родителям. Переезд в другую избу Ньюша встретила спокойно. Она будто и не заметила его. И вот...

Повспоминав Ньюшу, а потом наскоро пообедав, я стал собираться домой: завтра мне было в школу. По дороге у дома Астаховых, который они купили, возвратившись в село из города в войну, меня остановил громкий женский плач. Я спешил с моего железного коня и пошел узнавать, в чем дело. Оказалось, пришла похоронка на Илью. Он погиб за несколько дней до Победы под Берлином. Выходило, что Ньюша и Илья покинули этот мир почти одновременно, чтобы вскоре встретиться, как мне думалось тогда, где-то там, на райских полях.

ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

На исходе четвертого военного лета мои дружки Санька Толкач и Ванька Лобан как-то разбудили меня ранним утром и спросили:

— Пойдешь с нами к молотилке?

Я с радостью согласился, мигом опорожнил чашку каши, которую подсунула мне мать, и мы отправились в путь. Три километра, отделявшие село от ржаного поля, где возле одного из скирдов стояла молотилка, показались нам пустяком. А там... Там было весело, как в клубе! Ровное гудение молотилки перебивали то громкий смех, то притворно-испуганные выкрики девушек, то неожиданно возникавшие напевы песен и частушек. Все было понятно: на молотилке работали 17-18-летние парни и девушки. Одни носили снопы из стога, другие подавали их парню, который совал снопы в барабан молотилки, третьи отгребали к омету солому, четвертые отправляли на ток зерно.

К молодым людям, сноровисто управлявшимся с делом, мы, девятилетние ребята, относились с робким почтением. Они уже закончили школу и были стар-

шими посетителями клуба. Эвакуированная из города учительница поставила вместе с ними какую-то классическую пьесу, и мы с завистью смотрели, как соседские парни, неузнаваемо преобразившиеся в своих необычных одеждах, дерутся на сцене деревянными мечами. Держались молодые люди особняком (взрослые!), и среди них уже наметились парочки влюбленных. Но до свадеб так и не дошло...

Осенью всех парней, кому исполнилось восемнадцать, забрали на войну. Уходили из дома двадцать человек, а вернулся только один, да и тот на протезе. Парней этих я знал всех до единого и по прошествии лет, вызывая в памяти знакомые лица, повторял понравившуюся мне песню Евгения Винокурова и Андрея Эшпая о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой. Но только я доходил до слов: «Девчонки, их подруги, все замужем давно», мне становилось как-то неловко. В многомиллионной Москве можно было найти замену любимому юноше. А попробуй сыскать ее в послевоенном нашем селе с тремястами дворами, где женихи наперечет. Поэтому-то после войны более двух десятков девиц остались неприкаянными. Правда, со временем трое из них нашли себе пару: одна вышла замуж за того парня, который потерял ногу, две других — за парней значительно старше себя, уцелевших на полях сражений. Шесть-восемь девушек уехали из села в поисках счастья и вестей о себе не подавали. А десять вечных невест, как себя называли эти неустроенные молодички, продолжали идти по жизни одинокими. Вековали они сначала с родителями, а после того как те ушли в мир иной, оказались одни-одинешеньки.

В селе они ничем особо не выделялись: работали в колхозе, держали на своем подворье корову, поросенка, десяток кур или гусей. Заботы о хозяйстве не давали лениться и поглощали все их свободное время. Но от случая к случаю вечные невесты собирались у одной из подруг, ставили на стол штоф самогона, немудреную закуску и неизменно открывали застолье одной и той же песней: «Что стоишь качаясь, тонкая рябина, / Головой склоняясь до самого тына?» О чем они говорили, было неизвестно: посторонних на эти сборы не приглашали. Когда им исполнилось шестьдесят, застолья прекратились. Одинокие женщины только изредка навещали друг друга.

Лет десять назад я, уже стариком, попал в село, где прошла значительная часть моего детства и отрочества, и узнал, что в живых остались лишь трое вечных невест. Всех их я навестил. Одна вообще не узнала меня, вторая не пожелала говорить со мной о прошлом, и лишь третья, после того как я представился ей, расплакалась:

— Толик? Учителев сын? Помню, помню. А ты не забыл, как?..

К моему удивлению, она заговорила о том самом лете, о той самой уборке ржи, о той самой работе на молотилке, где они со своим Колей выделялись ловкостью и красотой. Видимо, с этими воспоминаниями вечная невеста и ушла из жизни. Для нее война так и не кончилась.

ЛИШНЯЯ ТЕТРАДЬ

В предпоследний военный год у нас необыкновенно туго с бумагой. И мы, дети, пишем на газетах. Однажды я аккуратно выполнил домашние задания — одно, другое и переписал на газету. Написанное тут же расплылось. Когда я представил себе, каково это будет читать нашей старенькой Анастасии Петровне, то неожиданно расплакался. Отец расспросил меня о причине слез и ... задумался. Наконец спросил:

— Ты можешь подождать три дня?

Я кивнул. И в воскресенье отец отправляется в Анну на рынок. Пешком, за 15 километров, зимой. Возвращается оттуда усталый к вечеру. Когда он пообедал

и отдохнул, мы разброшировываем принесенные им две общие тетради. Отсчитываем по двенадцати листов и складываем в стопки. Потом прилаживаем к этим стопочкам обложки старых тетрадей, заклеиваем написанное на них чистыми бумажками, и тетради готовы!

Я мысленно пересчитываю. Эта — по русскому языку, эта — по арифметике, эти — по иным предметам. Одна остается не у дел. Подумав, я пишу на обложке: «Для личных потребностей» (очень уж нравятся мне слова «личные потребности», где-то вычитанные мной). На первой странице вывожу: «Я люблю папу и маму». Потом добавляю: «Очень». За что — оставляю не поясненным. Я словно хочу сказать: «Самое главное то, что глазами не увидишь». Но до встречи с автором этих слов — Антуаном де Сент-Экзюпери — было еще далеко-далеко.

КАША-СЛИВУХА

В первом военном августе дедушка собрался ехать на лошади с ночевкой копать отаву — траву, снова отросшую после первого укуса. Я вопросительно поглядел на него. Тот, угадав мой немой вопрос, подумал и сказал:

— Ну ладно. Собирайся.

Я, шестилетний малец, был необыкновенно рад и побежал сообщить новость моей маме. Она не возражала, только спросила у дедушки:

— А что дать вам с собой из еды?

Дедушка усмехнулся:

— Не суетись, Таня! Бабка все, что надо, положит. Не останется мой внук голодным.

...И вот дедушка закончил последний рядок, вытер мокрую косу травой и принялся разводить костерок. Над огнем приспособил котелок, в который влил ключевую воду, обнаруженную неподалеку от места, где мы остановились. Потом положил в него пшено, немного картошки и небольшой кусок сала. Я не заметил, в каких пропорциях это делалось и как это делалось. Помню только одно — тот божественный вкус, который оставляла во рту каждая ложка каши.

— Как же хорошо, дедушка! — едва смог вымолвить я, когда котелок опустел.

— Каша-сливуха! На вольном воздухе сварена, с дымком, — гордо сказал дедушка. — Запомни, внучок.

А потом добавил:

— Я-то кухарь некудышный. А вот попробовал бы ты кашу у специалистов этого дела, язык бы проглотил.

После той поездки с дедушкой я часто вспоминал о каше-сливухе. А когда пошел в первый класс и учительница прочитала нам «Бежин луг» Тургенева, долго приставал к сверстникам с вопросом, что варили мальчики в ночном. Может, кашу-сливуху? Никто мне определенного ничего сказать не мог. Тогда я отправился в школьную библиотеку, прочитал этот рассказ и успокоился: они варили не кашу, а картошку.

...Минуло более двадцати лет. И я, будучи уже в аспирантуре, снова услышал (увы, только услышал!) о сливухе. Приятель привез меня к себе в Павловск, и один старик принялся мне рассказывать об «обнаковениях», которые продолжают жить в их маленьком городке:

— А еще, слышь, один раз в году, в конце июня, собираются мужики и бабы, кому шестьдесят лет и больше, когда они уже чувствуют себя братьями и сестрами, не шастают парами по кустам, значит, и выезжают на луг кашу варить. Разводят костер, варят кашу, вспоминают то-се и всю ночь поют. Красота!

— А каша... каша какая? Сливуха?

— Она, родимая.

На том бы и закончилось знакомство со сливухой у меня, теперь уже городского жителя. Но судьбы людские неисповедимы. В самом начале восьмидесятых пригласил нас с профессором Распоповым в Нижний Карачан мой давний приятель, только-только назначенный из председателей колхоза председателем райисполкома в Грибановке. Прислал за нами машину, и вот мы на месте, которое я покинул много лет назад.

— Вот что, ребята, — сказал хозяин. — Завтра с утраца поедем на Хопер. Место там обустроено на ять. Неделю назад приезжала делегация из Чехословакии. И вот мы выкосили на берегу реки траву, повалили огромное дерево, из толстой части ствола соорудили стол, метра полтора по диаметру будет, а из тонкой напилли чурбачки, на манер табуреток.

Но когда машина наша приехала в нужное место, Анатолий Иванович, озираясь, недоуменно спросил шофера:

— И куда же ты нас завез, Петрович? Где стол? Где табуретки? Ведь их никакой возможности нет вывезти отсюда: машина грузовая ни за что тут не пройдет.

Шофер подошел к берегу Хопра, который протекал метрах в пяти от нашей полянки, и сказал:

— А вот и дорога, по которой увезли «мебель». Скатили стол и табуретки в речку и доставили водой в нужное место. А там погрузили на машину и поминай как звали!

Подивившись находчивости наших мужиков, мы расположились на расстеленной плащ-палатке, и вскоре перед нами появились запотевшие бутылки водки, разные разности на закуску и тройная уха. Уха была отменная, ведро ее мы быстро выхлебали, чуть на доньшке осталось. А потом подали кашу-сливуху, над которой поодаль возились два мужика, приехавших на другой машине. Мельком я заметил какую-то необыкновенную железную печь без верха и трубы, аккуратно напиленные березовые дрова, бак с ключевой водой и толстенную посудину из чугуна, но не придал этому значения. А ведь они были важны, еще как важны, позднее понял я.

Распопов вздумал было отказаться:

— Куда уж тут после ухи? Да и что я каши не видел? В детстве ее каждый Божий день подавали на стол.

Но ему посоветовали:

— А ты попробуй, Игорь Павлович, попробуй.

Он попробовал, попробовали мы. Дальше случилось непредставимое. Тройная уха, дорогие колбасы, мясо, овощи и фрукты — все было забыто. И вот мы доскребываем последние крошки каши.

— Да-а-а... — потрясенно вымолвили мы, следуя примеру всех русских людей, когда они не находят нужных слов, чтобы выразить восхищение.

...С той далекой поры я много ездил по Земле, многое видел. Помню удивительный плов, приготовленный на поляне рядом с главным корпусом университета в Ташкенте, помню нежнейшие шашлыки, над которыми колдовали и гомонили пятеро кавказцев в Махачкале, помню невероятно вкусные, хотя и экзотические блюда в китайском Чунцине, помню великолепную паэлью в испанской Гранаде... Но когда я вспоминаю кашу-сливуху, сваренную специалистами, как говаривал мой дедушка, у меня снова и снова вырывается: «Да-а-а...»

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, В ЗАМУЖ!»

Бездетные Стенька и Кондрат Самофаловы жили как кошка с собакой. В шесть утра и даже раньше у них вспыхивали скандалы, к которым внимательно прислушивались соседи. Инициатором их обычно была Стенька. Она упрекала мужа в том и в этом, выговаривала ему за то, что он сделал вот так, а надо было иначе.

Кондрат яростно отбивался. Но вскоре сообразил: пора брать дело в свои руки. И вот, только проснувшись, он спешил отметить явные недоработки жены. Теперь уж отбиваться приходилось Стеньке.

Как это ни странно, скандалы пошли на пользу. Кондрат, хоть и отбрехивался, все же мотал на ус: прислушивался к словам жены и на справедливые ее замечания пытался отреагировать — поправить, что он плохо сделал. А Стенька, в свою очередь, поступала так же. И по истечении времени дом Самофаловых превратился в игрушку. Он выделялся на порядке аккуратно побеленными стенами, покрашенной в ярко-зеленый цвет крыши и огромном парикмахерском, в котором Самофаловы посадили несколько деревьев и кустов. Внутри избы было чисто, нигде ни пылинки.

Но и в ухоженном доме продолжали бушевать страсти, и длилось это вплоть до того, когда Кондрата призвали в армию: началась война. Уже в первый год ее Кондрата убили на фронте, и Стенька почувствовала себя вольной, как ветер. Ей было уже за тридцать, но она стала ходить на «улицу» — вечерние собрания молодежи, встраивалась в рядок с девушками намного моложе ее и распевала под балалайку, когда приходила ее очередь, «матаню». Начинала она обычно с несколько переиначенной старой частушки. Ее первая строка звучала так: «Не ходите, девки, в замуж!». Слова «в замуж» Стенька выговаривала особо тщательно, словно не советовала девкам вступать в какое-то проклятое пространство, где толпятся беды — одна горше другой. Потом следовали частушки фривольного содержания, с прозрачными намеками, и наконец заключительным аккордом звучали «произведения», в изобилии украшенные матерными словами.

Немногочисленные в войну мужики (инвалиды, рано повзрослевшие парни, а то и просто приезжие), слушая это, оживлялись и тянулись к Стеньке. Всех их она привечала, не чинясь. Понятно, случаи нарушения супружеской верности женщинами-солдатками в войну были не редкость. Но сельские бабы грешили тайком, стыдясь этого. А тут... И иногда та или иная другая из сельчанок говаривала Стеньке:

— Ты бы как-то поаккуратнее...

Стенька тут же вскидывалась:

— Почему же это поаккуратнее? У меня открытый всем дом любви!

Оппонентка замолкала. И была жизнь во все колокола, как сказала бы Анна Ахматова. Но не к добру...

После войны «дом любви» стал ветшать прямо на глазах: осыпалась побелка со стен, а потом с них стали отваливаться куски глины, в разных местах прохудилась облупившаяся крыша, похилился и рухнул заборчик, сооруженный умелыми руками Кондрата. И одновременно с этим в сорок лет как-то внезапно Стенька постарела. Любовников у нее резко уменьшилось, а затем они и вовсе исчезли.

Стенька осталась одна-одинешенька. Она не показывалась обычно на улице и только вечером, когда прогонят коров, выбредала из дому и присаживалась на завалинку. Проходили люди, здоровались со Стенькой, но разговоры с ней не затевали. Иной раз Стенька сама останавливала идущих мимо ее двора мужиков:

— Куда спешить-то, родимый? Зашел бы, покурил. Хоть мужицким духом повеет в избе.

Мужики обычно отнекивались. И только редкие из них отваживались входить в избу. Их встречали серые, давно небеленые стены, немые окна, там и сям расставленные тазы и прочие емкости, куда стекала из прохудившейся крыши вода. А на стенах висели в рамках увеличенные фотографии ее покойного мужа (штук, наверно, шесть-семь) и вещи Кондрата: его праздничный костюм, рубашки, штаны, выдавший виды ватник. И ошарашенные мужики, даже не докурив зажженные сигарки, спешили покинуть этот странный дом.

ШЕСТЬ КРИНОК С МОЛОКОМ

Рая окончила педучилище, вышла замуж и уехала вместе с мужем, военным летчиком, в Карпаты. Там они жили в небольшой западноукраинской деревеньке, расположенной неподалеку от их аэродрома, в пустующих домах ссыльных, бедовавших теперь где-то в Сибири.

Детей Макины еще не завели, и Рае решительно нечем было занять себя. Ну, простирнешь там что-нибудь из носильных вещей или постельное белье. Но разве это работа? А вот ежедневно стряпать ей не пришлось. Завтракать, обедать и ужинать они ходили в столовую аэродрома, потому что никаких продуктов в военторге не было, кроме слежавшихся круп, посеревших от времени макарон и завезенных невесть когда пачек маргарина, на которые и смотреть было тошно. Рая поначалу рассчитывала что-нибудь прикупить у местных: мужу платили хорошо, и с деньгами проблем не возникало. Но надежды ее не сбылись. Люди в селе какие-то странные — мрачные и замкнутые. На улице даже не показывались, и село казалось вымершим. На стук в дверь выходили хозяин или хозяйка, молча выслушивали, что говорят им русские и, пробормотав несколько слов на непонятном западноукраинском диалекте, захлопывали дверь.

От сводящего с ума безделья Рая пошла работать в школу — учительницей во второй класс. Дети были подстать родителям — нелюдимиые и молчаливые. Но Рае, доброму и веселому человеку, к концу месяца удалось разговорить их. Более того, мальчики и девочки, так непохожие на русских ребятишек, полюбили ее.

Заполненные школьными делами дни побежали веселее, и Рая не заметила даже, как наступила весна. Однажды, закончив уроки, она распустила ребятишек по домам, но, случайно выглянув из окна, заметила, что некоторые из них, сбившись стайкой, неподвижно стоят неподалеку от школы. Обеспокоенная, она подошла к ним и спросила:

— Что же вы, ребятки, не идете домой?

Дети молчали, потом один несмело сказал:

— Боимся.

Бояться было чего. Накануне вечером реки вскрылись, и лощина, где летом протекал жалкий ручеек, была заполнена водой, по которой плыли какие-то суцья, обрезки досок и прочий хлам, а мостик, который вел на тот берег, откуда и приходили шесть ребятишек, исчез из виду. Рая несколько раз крикнула: «Эй, люди!», надеясь, что ее услышат жители близлежащих домов, но люди не появлялись.

«Это надо ж так! — подумала Рая. — Наши русские бабы подняли бы такой шум-гам и махом расхватили бы детишек, не глядя, чей он — свой или чужой. А тут...»

Но делать что-то надо было: вода все прибывала. Мелькнула мысль: надо устроить детей на ночь в школу. Но она отринула ее. Шесть одеялок, шесть подушек, сколько-то там простынь. Их не найти. Да и кроватей в школе нет. А потом проблемы с ужином и завтраком. И Рая решила. Она сорвала с головы полушалок, подпоясалась им на манер солдатского ремня и присела на корточки перед ближайшей девчужкой:

— Залезай мне на спину, держись за мои плечи, ножки подогни, а то замочишь.

Та быстро заняла нужную позицию, и Рая вошла в ручей. У, какая холоднючая вода! Она наполнила сначала Раины ботики, потом поднялась до колен и наконец остановилась чуть ниже пояса. Ну, Райка, скорее, скорее, подстегнула она себя, только смотри не споткнись. Не хватало еще растянуться поперек ручья, да еще с ребенком.

Шесть рейсов туда-обратно Рая совершила на одном дыхании. Оказавшись на родном берегу, она постояла, подождала, пока последний мальчик не скрылся за

поворотом, и, почувствовав, как все тело наливаются тяжестью, медленно побрела домой.

Первым делом Рая переделалась во все сухое, потом подбросила в печь дровишек и, когда они разгорелись, села на скамеечку перед открытой топкой, жадно лоя каждой порой кожи прихлынувшее тепло. Вскоре прибежал с аэродрома муж, извещенный сослуживцем о происшествии. Он порылся в немудреных семейных пожитках, достал бутылку водки, налил до краев граненый стакан и протянул Рае:

— Пей!

Рая попробовала отказаться:

— Коля, но я же никогда...

Муж строго приказал:

— Кому говорят, пей! И чтоб до дна!

Зажмурясь, она лихо выглотала стакан, с непривычки сразу захмелела и вдруг задремала. Рая не помнила, как муж перенес ее на кровать, и открыла глаза только в шесть часов следующего утра. Пошевелила руками-ногами. Вроде ничего. Простуды нет. Поразмышляла, в чем причина. Помогла, может, водка, а может, как говорят мужики, при напряге нервов никакая простуда не пристаёт. Отчего-то вспомнила выражение «вешние воды», встреченное, кажется, у Тургенева. Но так уже не говорят, а все «половодье», «полая вода». Жалко... Огляделась. Окна запотели, ничего не было видно. Толкнула наружную дверь — посмотреть, что там и как. Солнце еще не встало, и было темно. Только вокруг, на улице, серели сугробы подтаявшего снега. А здесь, на крыльце, виднелись неясные очертания каких-то небольших предметов. Рая нагнулась и присмотрелась. Перед ней стояли шесть выстроенных в рядок кринок с молоком.

ДИГАРКА

Сестра отца — тетя Дуня — умирала. Она была без сознания, но говорила, говорила, говорила. По ее несвязным словам угадывалось: в ее голове оживают какие-то события, которые движутся необычно — от настоящего к истокам жизни. Пробормотав наконец несколько загадочных слов «Дига-дыга, дига-дыга», она навсегда ушла из этого мира.

Все разъяснилось на поминках. Проститься с покойницей пришли немногие, зато среди них оказались две ее деревенские сверстницы. Они-то мне рассказали, что еще в люльке Дуня смешно сучила ножками и радостно приговаривала: «Дига-дыга, дига-дыга». За это сельчане на всю жизнь присвоили ей прозвище — Дигарка.

Выросла Дигарка в мать малявочкою, но зато была шустрая, работящая и — главное — красивая. Ее рано, в восемнадцать лет, выдали замуж. Через год мужа призвали в армию — началась Первая мировая война. На фронте муж погиб, оставив ее с дочуркой Парашей на руках. Все мы помним из Некрасова, что деревенская женщина, потерявшая кормильца, сплошь и рядом впадала в нищету, голодала с детьми. Дигарка была исключением. Сама пахала, сеяла, жала, вязала снопы, молотила. А еще ухаживала за скотом. И поэтому не обнищала. Себя держала в строгости. И однажды к ней пришел Захар, сын справного мужика, влюбившийся в Дигарку еще до ее замужества. Без шутки сказал:

— А не пора ли, Дуня, тебе переезжать ко мне?

Сыграли свадьбу. И хотя родители Захара вскоре умерли, семья была немаленькою: двое супругов, трое детей и приемыш — сын покойных соседей. У него были, как говорят, не все дома, но он был ласков, послушен, работящ.

Дожили в трудах и заботах до 1929 года, когда крестьян начали сгонять в кол-

хозы. Власти прицепились к Захару: «Держишь батрака!» Раскулачили, отобрали избу, скот, а самого посадили в тюрьму. Дигарка переселилась с детьми в опустевшую после коллективизацию конюшню соседа. Как они там жили, один Бог ведает, но регулярно навещала мужа и носила ему передачи. Через полгода разобрались: приемыш никакой не батрак, а полноправный член семьи. Захара выпустили, но имущество не вернули: дом сломали, скотину порезали, а весь скраб и хозяйственный инвентарь разворовали. Захар занял денег, купил семье билеты на поезд и поехал в Воронеж.

Новую жизнь пришлось начинать с нуля. Захар поступил маляром на завод, а Дигарка уборщицей в какую-то контору. Жили восемь лет в бараке. Перетерпели войну: муж с сыном на фронте, Дигарка с дочерью в деревне у отца. После войны пришлось снова поселиться на целых двадцать лет в бараке на Кольцовской: их жилой дом, где они перед войной получили квартиру, разбомбили немцы. Потом постепенно все стало налаживаться, хотя у детей постоянно случались какие-то семейные нестыковки и даже скандалы. И вот в свои 73 года тетя Дуня умерла. Ее семья, словно лишившись главной опоры, просто перестала существовать: поочередно умерли Захар и все трое детей. Внуки разъехались кто куда. И следов Дигарки в городе совершенно не осталось, а в родной Мосоловке ее поминают только древние-древние старики.

НАРОДНЫЙ СУД

Как и всем нам, мне случается смотреть по телевизору передачи, в которых обсуждаются проблемы повышения качества выпускаемой продукции. Не знаю, зачем это я делаю. Мало того, что от эмоциональных выкриков толпы людей, собравшихся в студии, у меня начинает немилосердно болеть голова. Самое же главное — всякий раз я снова убеждаюсь: несмотря на глубокомысленные советы, прозвучавшие здесь, завтра все останется таким же, как и сегодня. А мой приятель настроен еще более пессимистично:

— Ну, что тут поделаешь? С жуликами бороться бесполезно. Особенно с нашими, отечественными.

После одной из таких передач я задумался: а что же, действительно, делать? И вот словно в ответ на этот вопрос в моей памяти всплыло полузабытое воспоминание тридцатилетней давности.

Как-то в Австрии, где я в середине 80-х годов работал приглашенным профессором Зальцбургского университета, мы с моим местным коллегой договаривались о времени нашей очередной встречи (не помню уже по какому поводу).

— Может быть, завтра в семь вечера? — предложил я.

Он с недоумением посмотрел на меня:

— Завтра в семь вся Австрия будет сидеть у телевизоров. Народный суд...

Видя, что я не понимаю его, он спохватился:

— Забыл, что Вы иностранец. Дело в том... А впрочем, будет лучше, если о народном суде расскажет Ваша хозяйка.

Моя квартирная хозяйка была русской по национальности, но давно уже вышла замуж за австрийца и последние 45 лет прожила вдали от родины. Австрийские порядки она знала прекрасно и охотно просветила меня. Оказалось, что два-три раза в год телевидение устраивает слушание спорных дел в народном суде, заседания которого высвечиваются на домашних экранах. Суд этот коренным образом отличается от обычных официальных судов. Председательствует в нем хорошо известный в Австрии своей честностью человек. Дело ведут два народных (тоже неофициальных) адвоката. Публики в студии нет. Зато каждый австриец может принять участие в поисках истины: стоит лишь позвонить по одному из

трех телефонов, установленных в зале заседаний. Необычны и дела, которые рассматриваются в народном суде. В этом я смог убедиться, когда на следующий день, в семь вечера, уселся перед телевизором.

Слушалось дело, в котором истцами выступали три пенсионера, недовольных тем, что один фермер вздумал кормить своих коров силосом. Аргументация их была простой: наши деды и прадеды пускали на корм скоту только альпийское сено. Поэтому австрийское молоко стало лучшим в мире. А силосное молоко не такое вкусное.

Предоставили слово фермеру. Тот был краток:

— Я живу в свободной стране, и никто не волен мне указывать, чем кормить моих собственных коров.

Один из народных адвокатов возразил ему:

— Но ведь Вы же не один живете в свободной стране. Посмотрим, какова будет реакция Ваших соотечественников.

И тут телефоны будто взорвались: трезвонили непрерывно. Всех звонивших внимательно выслушали. Они, не сговариваясь, отвергли силос.

Другой адвокат обратился к невидимой ему аудитории:

— И, стало быть, вы, мои сограждане, не будете покупать молоко от коров, которых кормят силосом, хоть оно будет стоить дешевле? Или как?

Ответ был единодушным: нет, не будем.

Спросили фермера, как тот, свободный человек, относится к мнению таких же свободных австрийцев. Он попросил для раздумья пять минут, а по истечении их твердо заявил, что исклучит из рациона силос.

Окончательное решение суда было категоричным: «силосное» молоко уничтожить (путем слива в канализацию), масло, изготовленное из этого молока, пустить на технические нужды. А контроль за исполнением решения суда возложили... Вы знаете — на кого? На хозяев продуктовых магазинов. Я удивился, но моя хозяйка посмотрела на меня как на сумасшедшего:

— А на кого же еще? Ведь они самые уязвимые в этой ситуации люди. Достаточно хоть малейшего нарушения в каком-либо магазине, как народные адвокаты тут же оповестят всех жителей Австрии. После такого сообщения те начнут старательно обходить стороной этот магазин, и — пожалуйста — разорение хозяйну обеспечено!

...Передача закончилась, Австрия отхлынула от телевизоров и занялась обычными делами. Страна спокойна: путь невкусному молоку надежно перекрыт. Оно никогда не появится на прилавках магазинов.

СВИДАНИЕ С ИСКУССТВОМ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

После окончания педтехникума моего двадцатилетнего отца послали учительствовать в глухомань — Щученский район, и он так на всю жизнь остался деревенским учителем. Работал в четырех селах: в Чернавке и Александровке — до войны, в Николаевке и Мосоловке — после нее. В районных центрах бывал только однодневными наездами, а о городах уж нечего и говорить.

— Ну что же это такое? — жаловался он. — Пять раз ездил на заочные сессии учительского пединститута в Воронеж и ничего там не посмотрел. А в войну просидел два года в окопах под Сталинградом. И Сталинград-то я не видел: после ранения в госпитале лежал. И все!

В шестьдесят лет отец ушел на пенсию, и я перевез его с матерью в Воронеж. Он радовался:

— Наконец-то похоже по музеям, выставкам, театрам. А то так и умру темным.

Но жизненные заботы рано состарили его. Он быстро уставал, часто болел. Как-кие там выставки и музеи! А через два года навалилась на него хворь, от которой он так и не оправился. Положили его в третью больницу. Мать постоянно присматривала за ним, даже на ночь оставалась в больнице, спала на какой-то скамейке. А я ее изредка подменял. Иначе не получалось: работа.

Почти все время он был без сознания. Иногда лежал тихо, как будто спал, иногда в бреду вел бесконечные разговоры. В невидимых собеседниках у него были мать, давно умерший брат — дядя Федя, наш бывший деревенский сосед Тихон Васильевич и какие-то незнакомые мне люди. А однажды я заметил, что он говорит со мной. Только меня, своего собеседника, воспринимал неодинаково: его помутившемуся сознанию я представлял то как семи-восьмилетний мальчик, то как юноша студенческого возраста, то как сорокалетний мужчина, каким я был во время его болезни. Но логическая связь в его вроде бы бессвязных рассказах была...

— Ты вот все время пристаешь, сынок: расскажи да расскажи про войну. А что о ней рассказывать-то? Холод, грязь там, кругом раненые, мертвые. Еда плохая, и то раз в день. А каково это спать зимой в ватнике или даже в шинелке на промерзшем лапнике?..

Неожиданно последовало невразумительное бормотание, потом речь отца приобрела необходимую ясность, хотя чувствовался пропуск какого-то куска рассказа.

— А один раз к нам в госпиталь приехал Отто Юльевич Шмидт. Ну, ты его знаешь. В школе вам, наверное, говорили, что это был руководитель на «Челюскине». Да... он много чего рассказывал... Как тонул корабль, как жили на льдине, как спасали их. Всех спасли. Только один погиб. Когда высаживались на лед, помощник механика замешкался. Ему кричат: «Прыгай, прыгай!» А он не прыгает. Так и ушел под воду...

— Конечно, нам крутили в госпитале разные картины. Больше про Чапаева, про броненосец «Потемкин». Но мы ждали трофейные фильмы. Они были американские, а нам говорили трофейные, взяли здесь же, под Сталинградом. Один мне больше всего понравился — «Сестра его дворецкого». Играет там Дина Дурбин. По виду она не похожа на американку, смахивает на русскую. Нам говорили, что у нее русские корни. Я его три раза смотрел. Наши-то все про борьбу, про борьбу. А американские — про людей. А еще я задумался, сынок, до чего же трудная у актеров работа. Это ж надо так переиначиться, чтобы совершенно чужого человека изображать! Какой дар Божий для этого надо иметь...

Снова невнятное бормотание, снова ясная речь, только она обращена ко мне — студенту.

— А где же я буду, Толя, ночевать? Там же, в твоём общежитии? А кровать-то свободна? Ну, тогда ладно. Но неловко как-то поздно приходиться. Зато какой вечер был! Буду матери рассказывать, что за штуки проделывал этот Карандаш со своей маленькой собачкой, не поверит! А уж Ирина Бугримова! Как командует львами! И не страшно ей. Любому такому ее только на перекус хватит. И акробаты Кадыр-Гуляма черт-те что выделывали. Хорошо, что ты сводил меня в цирк, Толя. Запомню: цирк-шапито. В Первомайском сквере...

Большая пауза. А через минут десять отец начинает беседовать со мной, уже теперешним, только невидимым.

— Тебе уже, Толя, говорили, что учитель я был вроде неплохой. Детей любил, старался вложить им в головы, что знал. Да что я знал-то? Ну, книги там нужные прочитал, конечно, не сколько ты. А когда мне было этим заниматься? В войну и после войны на учительскую зарплату и нечего думать было прожить. Держали корову, овец, поросенка. Придешь из школы, пообедаешь и тут же их обихаживать. А там надо готовиться к завтрашним урокам. Помню, что «Войну и мир» только за два года одолел... А когда строятся начали в Мосоловке, стало хоть

караул кричи. Скот продали, а денег все нет. И материал закончился. Я всячески выворачивался, исхудал весь. Верить, штаны с поясницы спадали. Мать какие-то лямки сгондобила, на манер детских помочей. Стыдно, а носить приходилось. А кроме книг я ничего и не знаю. Видел трофейные фильмы в госпитале, один раз с тобой в цирке был. И все! И вот такие деревенские учителя, мои сверстники, были все до единого, бедолаги дремучие. Ну, в райцентрах и городах иное дело. Там полегче было. Хотя и там всякие были учителя...

— А ты, Толя, не забыл, как говорил ты, устроить мне свидание с искусством — сводить в театр? Спектакли по телевизору я, конечно, видел, но это другое дело. Тут перед тобой актеры — живые люди. А может, и в филармонию попадем? Интересно мне: не зря, я думаю, люди там два часа сидят и все слушают, слушают. Не забудь, Толя!

Я ничего не забыл. Но свидание с искусством не состоялось. На пятый день отец в больнице умер.

ПОСЛУШНАЯ МОТЯ

Фроська, тридцатилетняя вдова, могла бы о себе сказать словами анекдота: «Характер у меня замечательный, только вот у окружающих нервы слабые». Целыми днями она корила подвернувшихся под руку баб и мужиков за то, что они сделали так, а надо бы вот так, в изобилии рассыпала непрошенные советы, без устали гоняла ни в чем не повинных ребятишек, оказавшихся около ее дома. И сельчане научились остерегаться ее как чумы.

Но Фроська была чудо как хороша: ладная фигура, черные, с какой-то просинью волосы и щеки как румяные яблочки. Нет, она не красила их, такими они были у нее с детства. И деревенские мужики иногда западали на нее. На пятом десятке, настигнутый неумолимым правилом: «Седина в голову, бес в ребро», запал на нее и Тарас.

Это был работающий мужик, со слабой склонностью к зеленому змию. Его жена Мотя, незаметная серая мышка, обыкновенно молчала и во всем соглашалась с мужем. Но ее согласие было как-то необыкновенно к месту. Возвращается, скажем, он домой сильно навеселе (слава Богу, нечасто), поищет какой-нибудь повод (а то и без повода) и начинает бить посуду. Мотя по обыкновению молчит, только зорко следит за мужем. Возьмется он за тарелку, она тут же — за другую. Грохнет ее об пол, а она — то же самое. И так раза три. Потом Тарас задумывается и говорит:

— Мотя, этак мы с тобой всю посуду перебьем!

А Мотя со всем согласна. Она швырнет последнюю тарелку, вне очереди, и бодро заявляет:

— Ничего, Тарас, мы с тобой еще наживем.

И скандал сам собой затихает.

Вот приходит раз домой Тарас и заявляет:

— Это... Мотя, я ухожу от тебя. К Фроське.

Мотя молчит, а Тарас добавляет:

— Скарб делить мы не будем. Я уйду, только и делов.

Мотя, во всем согласная с мужем, роняет:

— Как скажешь, Тарас.

Дня четыре молодожены жили тихо-тихо, видно, притирались друг к другу. А на пятый из избы Фроськи стали выплескиваться на улицу скандалы, день ото дня громче. И вскоре сельчане толпами повалили к избе, восхищенные ораторскими находками с обеих сторон. Так продолжалось неделю. А потом Тарас пришел к себе домой:

— Это... Мотя, тошно мне стало.

Мотя привычно молчала. Он ни к селу ни к городу радостно пошутил:

— А как мы с тобой посуду-то били! Век не забуду!

Потом решительно сказал:

— Возвратиться я решил. Не прогонишь?

Мотя только и сказала:

— Хозяин — барин. Ты дом этот строил, а я тебе лишь помогала.

Тарас как ни в чем не бывало прошел в супружескую спальню, разделся и лег спать на кровать.

Село встретило возвращение блудного сына в родные пенаты благосклонно. А Фроська длинными ночами все раздумывала: «И что он нашел в этой драной кошке?» Она и не подозревала, что ее загадку уже разрешила остроумная Фаина Равневская, только, как бы это сказать, с другой стороны, что ли: «Даже под самым пышным павлиньим хвостом скрывается самая обыкновенная куриная гузка». Сказала, как припечатала.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ НИКОЛАШИ

Мария Сергеевна ушла на пенсию и от нечего делать стала заниматься английским языком с шестилетним Николашей, жившим на одном этаже с ней. При каждой встрече мальчик придирчиво осматривал одежду и прическу своей учительницы и удовлетворенно констатировал:

— Красивенькая!

Но эта ритуальная сценка приказала долго жить после неожиданного открытия Николаши. Как-то однажды, когда они уже начали урок, позвонила подруга Марии Сергеевны, и та в ответ на какое-то предложение подруги сказала:

— Ну, мне в мои семьдесят лет поздно этим заниматься.

Закончив разговор, она посмотрела на Николашу. Тот сидел, закрыв лицо руками. Мария Сергеевна сперва улыбнулась: уж очень он был похож на заколдованного мальчика из сказки «Снежная королева». Потом встревожилась:

— Что с тобой, Николаша?

Он медленно отвел руки и потрясенно вымолвил:

— Ох, какая же ты старая. Моя бабушка тоже старая. Но ты очень... очень старая!

НЕ ДЛЯ ЧУЖОГО УХА

Чужих ушей в Мосоловке было немного, и их все знали. Этих трех хмурых мужиков время от времени вызывали в Анну. Звонили председателю колхоза, тот выделял подводу, и очередной хмурый мужик отправлялся по казенной надобности.

— Отчитываться поехал, — говорили с явной насмешкой и такой же опаской сельчане.

А в обычное время, не таясь, эти же сельчане говорили о чем придется, даже о том, о чем и думать-то было запрещено, только внимательно приглядывались, не покажется ли где длинное чужое ухо. При этом, понятно, присутствовали вездесущие мальчишки восьми-десяти лет. Их не опасались: малы еще, многое не поймут, а что поймут — быстро забудут. Но вот ведь какая штука. Семьдесят лет прошло с той поры. Все до одного участники разговоров не для чужого уха давно уже переселились на сельское кладбище, а их голоса у меня в памяти звучат явственно, я различаю каждое их слово и даже интонации улавливаю.

... — Ты вот что скажи мне, сосед, — говорил дед Воробей моему дедушке Гав-

рилу. — С чего это вдруг везде пишут и поют про ступодовый урожай? Эка невидаль! До колхоза я выделял в своем наделе делянку, засевал ее рожью и даже в самый неурожайный год снимал по сто пудов с десятины. А так — сто пятьдесят пудов было обычным делом.

— Да что тебе сказать-то, — отвечал мой дедушка. — Ничье ведь. Пашут кое-как, убирают с потерями. Откуда тут урожаю взяться?

И они замолкали, погружаясь, каждый в свои, невеселые раздумья.

... — Опять ты, Козьма, что-то ломаешь?

— Доламываю жизнь свою. Сначала пустил на топку ригу, потом конюшню, потом омшаник. Дошла теперь очередь до овчарни. Пары распахали, и овечки перевелись: пасти стало их негде. Так что овчарня не нужна стала.

— С таким размахом, глядишь, у тебя скоро и ломать будет нечего.

— Э, нет. Шалишь, — криво усмехнулся Кузьма. — Хозяйство-то у нас плановое. Вот я и планирую добраться с топором до птичника. Раньше там моя хозяйка держала гусей, уток. А сейчас десяток кур осталось. Перебьются в мазанке, где раньше инструмент всякий хранили. А дальше... Переведу остальную скот — корову, свинью, и снова мне будет где разгуляться.

Кузьма умолк и опять принялся крушить свою жизнь.

... — Здорово, Ефимыч! В отпуск, поди, в родное село пожаловал?

— В отпуск.

— И сколько же свободных ден у тебя?

— Четырнадцать.

— Маловато.

— У нас на собрании говорили, что до революции и такого не было. Правда, один старик наш сказывал, что тогда по две недели не работали на Рождество и на Пасху. Получается, отпуск был четырехнедельный.

— Ну, будь доволен и двухнедельным. У нас в колхозе отпуск вообще не положен. Отдохнешь, говорят, зимой. А зима пришла — дров наруби, снег почисть, скот обиходь. Присесть мужику и то некогда. А о бабах уж и говорить не приходится.

Они попрощались и разошлись — каждый по своим делам.

...Я заглянул к знакомому отца на Комаровку — попросить лодку. Захотелось на вечерней зорьке порыбалить. У него я застал пир горой. Две бутылки, какая-то снедь. И споры, споры...

— Ты вот говоришь, Митрич, после войны, может, колхозы распустят. А мне на что это? — сказал хозяин. — Только-только колхозная жизнь закончится, отстроишься, обзаведешься хозяйством, а тут что-нибудь другое. И начинай, кума, все сначала!

— Но ведь, Сидорыч, жить-то как-то надо: в колхозе или без колхоза.

— А это уж не моя забота! Вон приглашают переселяться в Крым и в Калининградскую область. Обещают оставшиеся от высланных татар и немцев дома, всякие там постройки отдать. И скот выделяют. Уеду я. Пуцай тут суслики горбатятся, сколько им влезет...

Вскоре после этого разговора изба знакомого опустела, потом настала очередь других. И процесс пошел. А конец этого процесса я наблюдал, правда, в другом селе, лет через сорок. Тогда я купил в Горках под Новой Усманью саманный домик под дачу. И как-то мне пришлось возвращаться оттуда в Воронеж на автобусе. Сидящий со мной на одном сиденье попутчик оказался разговорчивым. И он-то, уже не опасаясь чужого уха, сказал мне, совершенно незнакомому человеку:

— Вы и представить себе не можете, какое тут было большое село. После войны я помогал матери, она была письмоносицей. Сумка у нее была страшно тяжелая: одних пьтсот «Правд» на 550 дворов. 550! А сейчас осталось десяток-полтора до-

мов, где доживают свой век старики. И пять-шесть пропойц, каких свет Божий не видывал. Детей — никого.

Автобус подъезжал к Воронежу, и мой собеседник на прощание заключил:

— Я однажды читал какого-то писателя. Фамилию не помню. Так вот он с уверенностью предрекал: если останется хоть один русский уезд, Россия обязательно воскреснет. А я сомневаюсь. Какое тут может быть воскресение с такими вот селами...

ПОСЛЕДНИЙ МАСТЕР

В небольшой уютной Мосоловке (триста дворов всего-то) до самой войны сохранялись многочисленные омшаники. В коллективизацию они все опустели, кроме одного. У деда Макара он все еще действовал: каждую осень дед водворял в него четыре-пять ульев.

Дед был словно шукшинские герои: какой-то не такой, как все окружающие.

Война застала Макара уже старым: ему стукнуло семьдесят. Он жил один: жена его умерла, а девятнадцатилетний приемный сын сгинул в первые дни войны. Сил у деда оставалось чуть на доньшке, и их хватало лишь на то, чтобы возделывать крошечный огород, половину которого занимал турецкий табак: самокрутку изо рта Макара выпускал разве что во время сна. Скот и птицу он не держал, а пчеловодством занимался без каких-либо видов на доход. Просто ему нравилось это занятие. Ульи располагались тут же — рядом с избой, стоящей на краю Комаровки. Поблизости находились никогда не распахивавшийся бугор с его разнотравьем и лес, так что для медосбора его пчелкам летать далеко не приходилось. Дед Макар восхищался трудолюбием этих удивительных созданий и уважительно относился к прекрасно организованной жизни роя. И пчелы, казалось, понимали это. Они ползали по обнаженной коже лица и рук деда и никогда не жалили его.

Нежданно-негаданно пчелы стали обеспечивать какой-никакой приварок к его скудному рациону. В войну днем с огнем было не найти ни сахара, ни конфет. И хозяйки, выпросившие у деда баночку меда, чтобы потешить своих детишек, расплачивались с ним десятком яиц, а то и зарезанным курчонком.

Вдобавок к этому Макар подрабатывал, занимаясь чем придется. В довоенные годы нужды сельчан удовлетворяли разные мастера: бочарники, горшечники, вальщики, портные, сапожники, плотники, кузнецы. Теперь они все уже поумирали или ушли на фронт. Даже крайне важная кузница стояла на запоре. И дед Макар остался в Мосоловке единственным мастером, зато мастером на все руки. Женщины, оказавшиеся без мужей, приглашали его кто за чем: наточить ножи и топоры, запаять прохудившиеся ведра, сплести из лозняка корзину, поставить на место упавший плетень.

А еще дед Макар делал отличные складные ножи — заветную мечту каждого мальчишки военных лет. Они были наподобие перочинных, только побольше. Ручки к ним (необыкновенно изящные) дед изготавливал либо из дуба, либо из липы. Дубовые были покрепче, но я предпочитал липовые: они словно ласкали кожу рук. Мы с моим приятелем Колькой завистливо вздыхали: «Вот бы нам такие!», но понимали несбыточность своей мечты: дед мастерил ножи только из материала заказчиков. А где его взять-то?

Но однажды Колька с таинственным видом поманил меня в свой сарай. Отодвинув горы мусора, он показал мне два стоящих у стены обломка оборванной невесты когда косы. Прихватив один такой обломок и понадежнее спрятав другой (авось пригодится), мы помчались, радостные, к деду Макару. Об оплате мы не заботились: знали, что дед Макар в качестве платы оставляет себе половину принесенного материала.

Посмотрев на нашу находку, дед Макар вымолвил:

— Два ножа.

Я нерешительно вымолвил:

— Дедушка, а нельзя ли мне из липы? Ручку-то?

Дед Макар промолчал. А через три дня мой дед Гаврил, как всегда, без улыбки, сказал мне:

— Зайди к Макару. Что ты заказывал, готово.

И вот у нас в руках два прекрасных ножа: Колькин — с дубовой ручкой, мой — с липовой. Мы их берегли, буквально не выпускали из рук. Но ничто не вечно под Луной. К концу года Колькин нож куда-то запропастился, а у моего сломалось лезвие: коса-то была старая-престарая.

Колька мигом достал из-под завалов вторую половинку косы, и вот мы протягиваем ее деду Макару, говорим:

— А можно?..

Немногословный дед Макар прервал нас:

— Приходите через неделю.

В назначенный срок мы были на Комаровке. Толкнув дверь, вошли в избу. Дед Макар неподвижно сидел за столом. У последнего мастера военной Мосоловки остановилось сердце. А перед ним лежали два складных ножа: один — с дубовой, другой — с липовой ручкой.

НА ВЫЕМКЕ ДОМОДЕЛЬНОГО ВИНА

Время от времени в Стране Советов случались вспышки борьбы с самогоноварением. Инициированная кем-то из кремлевских сидельцев очередная кампания выплескивалась за пределы Москвы и распространялась по городам и весям нашего богоспасаемого Отечества со скоростью чумы. Но она была какая-то странная. Сначала все бурлило и клокотало, потом неожиданно смолкало до следующего раза. А мужики так и не переставали потреблять гранеными стаканами мутное и вонючее зелье — для сугреву, для настроения и просто от нечего делать.

Я был свидетелем нескольких таких кампаний, но особенно запомнилась мне одна. Тогда я работал редактором районной газеты, знал все и вся, был знаком со всеми, и меня знали все. И вот однажды звонит мне начальник милиции, человек с виду болтливый, но в действительности себе на уме и добрый:

— Михалыч, составь компанию. Вечером еду по плану борьбы с самогоноварением в Нижний Карачан. Хорошо бы ты тоже поехал.

— Тимофеич, — говорю я, — ну, с какой это стати? Мне нечего делать что ли? Или самогон без меня не найдешь?

— Найду, конечно. Но для авторитета, так сказать. Ведь ты редактор, да еще член партбюро райкома. И тебе это выгодно. Где надо, галочку поставишь: дескать, принимал участие в борьбе с нарушением норм социалистической законности.

В конце концов, Василий Тимофеевич уговорил меня, и мы вечером на двух машинах отправились в Нижний Карачан, где к нам присоединились два местных милиционера. По наводке этих местных машины остановились у одной избы, потом у другой, третьей... Сценарий наших дальнейших действий был один и тот же. Члены комиссии усаживались на лавку в избе, а двое милиционеров (меняясь попеременно) проходили за занавеску, скрывавшую крохотное пространство у печки, в котором теснились маленький стол, судняя лавка, ведро с водой и лоханка для помоев. Отсутствовали они минут пятнадцать-двадцать, потом выходили из-за занавески, делали какой-то знак Василию Тимофеевичу, и мы отправлялись в следующую избу.

Когда таким манером мы обследовали шесть изб, Василий Тимофеевич сказал мне:

— Ну, пожалуй, хватит на этот раз. А то уж мои молодцы едва на ногах держатся: самогон плохой, да и закусить некогда.

По молодости лет я ничего не понял.

— А о результатах мы что писать будем в отчете?

Василий Тимофеевич махнул рукой.

— Да какие там результаты! В этих избах, да и в других тоже, самогону немешно. Но, видишь ли, в чем дело — у одних свадьба на носу, у других — поминки, третьи собираются перестраивать дом. Да мало ли какая надобность возникнет у мужика? Куда уж тут без самогона! А водку купить не на что. В общем, мы ничего не нашли. Ты не будешь возражать, если в бумаге, которую требует райком, мы так и отпишем?

Я не возражал...

Осенью закончилось мое четырехлетнее сидение в районе, а дальше меня ожидало обучение в аспирантуре, которая решительно никакого отношения к антисамогонным кампаниям не имела. Но они неожиданно напомнили мне о себе.

Когда я в очередной раз пришел в архив порыться в бумагах, относящихся ко второй половине XVII века, мне попала на глаза пухлая стопка донесений сразу от двух лиц. Они были посланы воеводой на выемку домодельного вина в Семилуки. Производство этого вина находилось явно не в ладах с государственной монополией на водку. Воевода был не дурак и распределил своих посланцев грамото: первый начинал с одного конца селения, второй — с другого, и они шли навстречу друг другу. По ходу обследования посланцы должны были письменно отчитываться о результатах розыскных мероприятий. Я прочитал их отчеты и восхитился: как же стойко держатся в России добрые традиции! Может быть, мы и выжили в кошмарных условиях благодаря им?

Все донесения (от того и другого) были написаны словно под копирку, хотя в те давние времена о ней и слухом не слыхивали: «У... (имя рек) найдено (150, 200 и даже 300!) ведер домодельного вина. Но все для себя, не на продажу». И здесь-то мне вспомнилось наблюдение английского писателя Грэма Грина: «Истина никогда, по существу, не приносит добра человеку — это идеал, к которому стремятся математики и философы. В человеческих отношениях доброта и ложь дороже тысячи истин». И я спросил себя: выходит, ложь во спасение ценим не только мы, но и другие народы? Похоже, что так. Но вот концовка этой истории была чисто русской. В самом низу этой стопки было сообщение от какого-то третьего лица. Он информировал воеводу, что два его посланца закончили работу и встретились в центре Семилук. Между ними возник конфликт, в результате которого у одного из посланцев сломана рука, а у другого — нога.

ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ

В молодости по понятным причинам я не придавал особого значения словам Арсения Тарковского: «Жизнь хороша, особенно в конце». Но когда прошли годы и череда (большая череда!) нужных дел осталась лишь в моих воспоминаниях, эти слова стали для меня чем-то вроде девиза, и я научился ценить привычные вещи, которые повторяются раз за разом, которые заполняют каждый мой день без остатка и которые (все до единого) я принимаю с грустью и благодарностью.

Вот я встаю с постели в 6.15. Умываюсь, прохожу на кухню. Первая чашка утреннего кофе, первые утренние ломтики сыра, первая утренняя сигарета, первая порция утренней воркотни жены (без особых оснований — токмо ради поста-

новки голоса). Покончив со всем этим, я цепляю на поводок мою маленькую Жужу и выбредаю на плохо гнущихся ногах на улицу.

А там меня тоже ожидают привычные вещи. Только другие. Около близлежащего дома из кустов выбегает ослепительно белая китайская хохлатка. Она бурно приветствует мою Жужу, некоторое время играет с ней и тут же направляется вместе с хозяйкой по своим неотложным собачьим делам. Ее сменяют суетливая такса и важный медлительный мопс. А потом в конце нашего маршрута, под громадным деревом, промелькивает озабоченная мордочка белки, роющей в земле вблизи от спасительного ствола.

Такой же привычной вещью для меня до недавнего времени были регулярные встречи с Петровичем, сухоньким старичком лет семидесяти, который после моего переселения на новую квартиру оказался со мной в одном подъезде. Точно в семь он присоединялся к нам с Жужу и начинал бесконечные свои рассказы. Говорил он всегда об одном и том же, и я, занятый собственными мыслями, по привычке не слушал его, не забывая, впрочем, поддакивать в нужных и ненужных местах. Но однажды он неожиданно предложил мне сходить после обеда на соседнее кладбище. Я удивился, но, тем не менее, пошел: надо было навестить моих стариков, давно ушедших в мир иной.

После долгих блужданий по этому иному миру мы, наконец, нашли две искомые могилки, сильно заросшие травой. Пока шла моя мысленная беседа с покойными, Петрович стоял молча, а потом поманил меня в сторону — к свежим могилам.

— Вот, — сказал он и глазами показал на надгробный камень. Там была изображена молодая улыбающаяся женщина, хотя сообщение на камне говорило об ином: она умерла в преддверии своего семидесятилетия. В самом низу были высечены вполне стандартные слова: «Маше от безутешного мужа». А Петрович между тем продолжал:

— Семья у нас была, как и у других: двое детей, вечная о них забота, крошечная «хрущевка», безденежье. А потому постоянные ссоры. Один раз хотели даже развестись, но как-то не вышло. А теперь вот... дети выросли, у них своя жизнь, а мне одному, без нее, и жить больше не хочется.

Возвращались мы назад другой дорогой. По правой стороне ее тянулась стенка, отделяющая окрестные дома от гаражного кооператива. Она была едва различима: со временем ее заслонили высокие и не очень высокие деревья и какие-то колючие кусты. Отодвинув один такой куст, Петрович обнажил потемневший от времени кусок бетонной плиты. Там виднелась полустертая надпись, начертанная неровными детскими буквами: «Машутку ую».

Улыбнувшись, Петрович пояснил:

— Мы только что закончили первый класс.

А потом через несколько шагов на той же стенке мне была продемонстрирована другая надпись, сделанная, видимо, уже грамотным юношей: «Машенька, я люблю тебя!!!» Петрович ее прокомментировал так же кратко:

— Через четыре года мы поженились.

... Вскоре после похода на кладбище Петрович умер, пережив жену на один год. От него остались только эти три надписи — скупое и невнятное повествование о жизни обыкновенных людей, каких у нас много-много. Они всего лишь следовали привычному порядку вещей: родились, жили как могли и в свое время отпали, словно засохшие ветви, от зеленого дерева жизни. Впрочем, и оно тоже не вечно, как иногда думают. Даже звезды не бессмертны.

